

ВОЕННЫЕ
МЕМУАРЫ

1941
1945

М.П. Пичугин
Г.А. Кирпич

КОМИССАР И КОМБРИГ

**Армейско-партизанские
мемуары**



Военные мемуары (Вече)

Михаил Пичугин

**Комиссар и комбриг. Армейско-
партизанские мемуары**

«ВЕЧЕ»

2025

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)622.5

Пичугин М. П.

Комиссар и комбриг. Армейско-партизанские мемуары /
М. П. Пичугин — «ВЕЧЕ», 2025 — (Военные мемуары (Вече))

ISBN 978-5-4484-5443-1

Книга представляет собой сборник воспоминаний участников партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны: комиссара 25-го отряда бригады «Чекист» М. П. Пичугина и ее командира Г. А. Кирпича, которые во многом продолжают и дополняют друг друга. Честно и без прикрас рассказывают они суровую правду о войне и людях, ежеминутно рисковавших своей жизнью во имя победы. Составитель и научный редактор И. Н. Пичугина.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)622.5

ISBN 978-5-4484-5443-1

© Пичугин М. П., 2025
© ВЕЧЕ, 2025

Содержание

Комиссар и комбриг	6
Часть I. Воспоминания М. П. Пичугина	8
Предисловие внучки	8
Повесть о великой войне	10
Начало Великой Отечественной войны. Призыв в армию	10
Комиссар полевого госпиталя	11
Одни сутки дома	15
Отправка на фронт	16
В Торжке. Первые раненые и мои впечатления	16
В деревне Дарьино. По пути наступления наших войск	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Михаил Пичугин, Герасим Кирпич Комиссар и комбриг. Армейско- партизанские мемуары

© Пичугин М. П., наследники, 2025
© Кирпич Г. А., наследники, 2025
© Пичугина И. Н., составление, 2025
© ООО «Издательство «Вече», 2025

* * *

Мы должны понимать, что у будущих поколений должны быть свидетельства правды. Иначе информационное пространство, отравленное ядом лжи, будет возвращать зерна ненависти и возвеличивания фашизма и нацизма. Мы видим, что именно это произошло на Украине.

Вице-спикер ГД РФ Ирина Яровая

Комиссар и комбриг

Предлагаю к рассмотрению книгу, которая и есть это свидетельство правды.

Здесь в строчках отражены реальные события прошлой войны, и под обложкой собрано два взгляда на события Великой Отечественной войны: моего деда, участника двух мировых войн, ушедшего на Великую Отечественную в возрасте пятидесяти лет, и старшего лейтенанта, офицера-пограничника тридцати двух лет от роду, волею судеб ставшего организатором партизанского движения в Белоруссии под Могилёвом.

Это комбриг Г. А. Кирпич и комиссар отряда М. П. Пичугин.

Как схожи их заметки, даже сомневаешься иногда – не одна ли рука записала были страшных военных лет, не одна ли голова передумала эти думы? В рассказах их отражён взгляд воина, мужа, ставшего перед полчищами врага, осознающего высокую государственность защиты Отечества, понимающего политическую подоплёку событий, стратегию и тактику сражения, беззаветно, до последней капли крови своей отстаивающего свободу Родины. Автор знает, что за его спиной – семья и дети, малая родина и великая Отчизна, его идеалы, образ жизни и род.

В этом его и жертвенность, и сила. И ещё приходится признать, что русский язык, которым говорят эти военные, люди двух сменяющихся поколений, был богаче, мощнее, красивее, образнее и, несомненно, более литературным, чем тот язык, которым пишут сегодня авторы СВО. Это горькая и тревожная, но всё же правда. Ведь современный язык наш тоже является полем ожесточённой битвы.

Авторам этих записок о давних днях сражений пришлось воевать вместе, они прошли два тяжёлых грозных года бок о бок и, без сомнения, были дружны. На двух парадных фотографиях мая 1944 года они сняты рядом: молодой комбриг и старый комиссар. Дед говорил: сколько нами переговорено, сколько писем слали друг другу... пока не разошлись послевоенные пути.

Мемуары моего родного деда М. П. Пичугина найдены в семейном архиве и литературно обработаны мной. Соответственно, события, описываемые в первой части «Повести о Великой войне», – это взгляд стойкого бойца, комиссара полевого госпиталя, видевшего и принявшего на себя последствия Ржевского котла: попытки вырваться из окружения, плен, фашистский концлагерь для военнопленных в Белоруссии, леденящие душу подробности побега, блуждания по лесам и зимовка в лесной землянке-могиле. В маленькой неоконченной повести моего деда «Подрывники» от третьего лица описана повседневная жизнь партизанского отряда бригады «Чекист» под Могилёвом. Тут становится известно, как мой дед и его напарник встретились с отрядом, вступили в него, как именно шла «рельсовая война».

Живо и страшно перед читателем встаёт смерть юного партизана Василька Озорёнка, он слышит горькие упрёки бабки Агриппины за то, что бойцы Красной армии отступили, отдали жестокому врагу на поругание белорусскую землю, и их, мирных жителей, селян. Невольно приходят на ум события августа 2024 года в Курской области, которые трагически перекликаются с мемуарами моего деда.

Страшно и духоподъёмно читать строки его записок, ведь всё это было, было! Записки деда подтверждены многочисленными фотокопиями документов: самодельных тетрадей, склеенных дедом из пожелтевшей от времени кальки, его военного билета, справками из военкомата, наградным листом, есть даже справка, пришедшая к моей бабушке, о том, что её муж пропал без вести, когда группировка РККА под Ржевом оказалась в котле.

Фрагменты мемуаров Кирпича тоже мной литературно обработаны, снабжены связующими комментариями и отсылками к тексту моего деда. Полный текст мемуаров Г. А. Кирпича

под названием «Немеркнущая слава», хранится в Шкловском районном историко-краеведческом музее и будет издан Информационным агентством «Могилёвские ведомости».

Ирина Николаевна Пичугина

Часть I. Воспоминания М. П. Пичугина

Предисловие внучки

Пичугин Михаил Павлович (5 декабря 1893 – 22 мая 1972) – мой родной дед. Офицером-артиллеристом прошёл он Первую мировую и комиссаром прифронтового госпиталя отправился на Вторую, ставшую для нас Великой Отечественной войной. Воевал подо Ржевом и партизанил в Белоруссии. Не сохранилось ни одного снимка моего деда в юности (что неудивительно, он родился в дореволюционной деревне Урала), мало снимков его в зрелых годах – он воевал и работал. Не до фотографий тогда было.

Перед моим внутренним взором теперь он такой, каким я его в детстве видела и знала. Моё детское преклонение перед ним, перед его мощной личностью всегда было больше простой любви маленькой внучки к очень пожилому деду. Я интуитивно чувствовала в нём груз пережитого и того, что не может уйти из его памяти, что вызывает бессонницу и ожесточает его речи.

Но при всём этом те, кто знал его, кто был рядом, видели и его справедливость, бесконечное терпение и доброту к людям. Доброту и снисходительность человека, прошедшего через горнило страшных испытаний и пережившего так много.

Скупые строки анкеты...

Место рождения: деревня Крутогорье, Санчурский р-н, Кировская область, РСФСР.

Дата рождения: 1893 год.

Национальность: русский.

Партизанский отряд: 25-й отдельный отряд (Якушко И. А.) (Шкловская военно-оперативная группа).

Награды: медаль «Партизану Отечественной войны» II степени (1944 г.), орден Красной Звезды (вручён в 1949 г.).

Последняя должность: Комиссар 25-го отряда бригады «Чекист».

Недавно среди бумаг моего дедушки Пичугина Михаила Павловича мы нашли его мемуары и неоконченную повесть о белорусских партизанах. Повесть эта оказалась литературно обработанной его женой, моей бабушкой Анастасией Амвросиевной, всю жизнь проработавшей учительницей в городе Ирбите. Старики ни разу не пробовали обнародовать свой литературный труд, понимая: то, что написал не умеющий лгать или «обходить острые углы» дедушка, должно «вылежаться», прежде чем сможет достучаться до сердца читателя.

И время пришло.

Сегодня, читая многочисленную аналитику или бравурные «реляции» о скорых и быстрых наших победах в текущей войне с «ожесточённым подранком», «бывшим» мировым «гегемоном», невольно вспоминаешь строки мемуаров моего деда.

Я предлагаю вам, читатели, вернуться назад, в 1941–1945 годы.

Прочитайте.

Вспомните.

Или узнайте заново.

В Приложении я привела исторические справки и собственные стихи. Кроме того, там помещена неоконченная повесть моего деда о белорусских партизанах – продолжение рассказа о том, как мой дед стал партизаном, и о жизни и боевых буднях партизанского отряда подрывников.

Ирина Николаевна Пичугина

Повесть о великой войне

*Здесь до сих пор не затянулись раны,
Где ни копни – звенит металл войны.
Но тает снег, и веет духом пряным,
Подснежники бесхитростно вольны.
Они прозрачной синевой укрыли
Все раны вздыбленной войной земли,
Что столь обильно кровью оросили,
Где уступить ни пяди не могли.
Природа чистой слезой омыла
Окопы, доты, что у той черты,
На братские могилы положила
Весенние и нежные цветы.*

И. Пичугина

Начало Великой Отечественной войны. Призыв в армию

Великая Отечественная война застала меня на работе в Ирбитском районном комитете ВКП(б) в должности заведующего отделом пропаганды и агитации. В близкую возможность нападения на нашу страну фашистской Германии мы не верили. Не давала повода верить в эту возможность и советская пресса, партийные директивы, лекционная пропаганда. Мне лично казалось, что мы, то есть СССР, занимаем выгодное нейтральное положение. Я был иногда в душе не прочь и позлорадствовать над судьбой несчастных, как мне тогда казалось, Англии и Франции.

«Вы отвергли наше предложение дать коллективный отпор агрессору, – мысленно обращался я к правящим кругам Франции и Англии. – Вы проводили политику невмешательства и попустительства агрессору. Ну и пожинайте плоды вашей двурушнической политики».

В лекциях о международном положении тогда сверх меры выпячивалась наша военная и экономическая мощь, наше превосходство над фашистской Германией в военном отношении. Это мне не нравилось. Я был участником Первой мировой войны и видел, что из себя представляет немецкая военная машина.

Учитывая уроки Первой мировой войны, я удивлялся нашему спокойствию и беззаботности, нашему лёгкому отношению к весьма солидным вооружённым силам фашистской Германии. Это лёгкое отношение к противнику я видел и наблюдал также и со стороны офицеров Советской армии, в том числе и своего младшего брата Ивана, который тогда был в звании майора. Мне казалось, что теперь, как никогда, Германия – это опасный враг.

21 июня 1941 года к нам прибыл лектор обкома ВКП(б) – фамилию его не помню – с лекцией о международном положении. На этот раз произошёл наш с ним последний разговор о взглядах лектора на международное положение СССР.

– Как вы думаете, – обратился я к лектору, – не нарушат ли немцы договор о ненападении? Не обрушат они на нас всю машину войны?

– Что вы, разве это можно! Гитлер не будет воевать с нами, пока не покончит с Англией.

– Но а когда покончит? – говорил я.

– О, тогда мы грянем и, как буря, сметём все фашистские и империалистические силы Европы. Силы наших врагов тают, а наши силы возрастают!

«Твоими бы устами да мёд пить», – подумал я.

Утром 22 июня бедный лектор, услышав в гостинице по радио голос В. М. Молотова о нападении на нашу страну фашистской Германии, «как буря», ринулся обратно в Свердловск, не заходя в райком ВКП (б).

Все последующие сутки, затем ещё сутки в райкоме никто не ложился спать, «бодрствовали», как будто от того что-либо менялось в общей обстановке. Мне всё же казалась смешной эта наивная бдительность. Я отчётливо понимал, что война будет длительной, а не сутки или двое, как думали мои молодые коллеги.

5 августа 1941 года меня вызвал к себе первый секретарь райкома А. Паршуков. Произошёл короткий разговор.

– Михаил Павлович! Уральский военный округ требует дать им от нашего района одного товарища в звании батальонного комиссара. Помимо тебя, нет никого в районе в таком звании. Что ты думаешь?

Я ответил, что моя жизнь принадлежит Родине. Куда меня необходимо послать, туда я и готов отправиться.

Паршуков рассмеялся:

– Михаил Павлович, дорогой мой! Да тебя совсем никто не думает посылать на фронт, какой уж из тебя солдат – сорок восемь лет, большое сердце. Нет-нет, тут совсем другое имеется в виду. По секрету сообщу тебе, что тебя хотят использовать комиссаром окружного госпиталя в Свердловске. Сам я был комиссаром госпиталя в финскую войну. Работа очень интересная, условия хорошие, приличный оклад, и я потому не задерживаю твою кандидатуру, что считаю сделать тебе лучше. С работой, я уверен, ты справишься вполне. Ну как, согласен?

– Лучше бы послали меня на фронт, – возражал я, – не люблю я тыл, всегда как-то презирали тыловики в Первую мировую войну.

Паршуков улыбнулся:

– Да ты, брат, всё ещё храбришься. Но нет, пусть молодёжь пока повоюет. А старики уж потом пойдут на фронт, в крайнем случае. Так, решено?

– Ладно, – промолвил я, – пусть используют где лучше для дела.

Комиссий медицинских я никаких не стал проходить. Но в моих военных документах значился миокардит первой степени – значит, ограниченно годен.

Года два до того меня тщательно осматривал лучший врач Ирбитской больницы Зубов. Говорил: «Э, батенька мой, из вас никакого солдата больше не выйдет, сердце слабо работает... Спокойствие, меньше работать, не курить, не пить и, главное, режим!»

Да-а... Впоследствии, в 1943–1944 годах, будучи партизаном, я делал переходы в летнюю ночь по пятьдесят – шестьдесят километров, до десяти километров в час, то есть бегом всю ночь. И почти каждый раз на бегу вот этот разговор с врачом Зубовым приходил мне на память.

Дома мой призыв в армию встретили очень спокойно. Все были уверены, что я буду служить в городе Свердловске, прилично получать, опасности никакой. Младший сын мой Вовка, которому было семь лет, смотрел на меня с некоторым презрением: «Какой, мол, ты вояка в тылу-то, и пистолета никто тебе не даст повесить сбоку».

Мы имели корову, а косить в семье, кроме меня, никто не умел. А теперь стало и некому.

Жена просила всё же поучить её косить. На второй день я взял её с собой на луга, учил, как косить, точить косу, да вряд ли чему научил.

Вечером меня проводили на вокзал, и я уехал в Свердловск, совершенно не думая о том, какая тяжёлая военная страда мне предстоит в будущем.

Комиссар полевого госпиталя

Я спокойно спал в вагоне почти до самого Свердловска. От военкомата я имел направление прибыть в распоряжение специального отдела Уральского военного округа.

Из штаба меня направили к комиссару окружного госпиталя, которого, по призыву, я должен был заменить. Комната комиссара помещалась в здании окружного госпиталя.

День был ясный, тёплый. Раненые, которые могли ходить, все вышли на балконы, многие гуляли в саду возле госпиталя, везде были разговоры, смех, шутки. На лицах раненых сияли радости жизни, выздоровления. О том, что их снова пошлют на фронт, мало кто думал.

И опять, как в Первую мировую войну, я слышу разговоры о превосходстве противника в вооружении, об умении немцев воевать...

Один из раненых – молодой солдат с широким умным лицом, плотный, широкоплечий – очень уморительно рассказывал, как они драпали от немецкой мотоциклетной роты.

«Дан нам был приказ задержать противника на шоссе у местечка N. Окопались, лежим в траве, нас совсем не видно. Вдруг впереди нас поднялось огромное облако пыли, затем треск и дикий вой: “хах, хах, хах!” Прямо на нас мчалась немецкая мотоциклистская рота. Лежали мы в густой траве возле леса. Немецкие мотоциклисты одной рукой правят-рулят, а другой, прижав автомат к пузу, стреляют куда попало. Мы тоже открыли огонь. Вдруг позади нас загремели частые хлопки автоматного огня. “Окружили!” – завопил кто-то с диким матом, мы кинулись удирать по лесу вправо. Только потом мы поняли, что немцы стреляли разрывными пулями, которые, разрываясь, действительно сильно хлопали».

Впоследствии, уже будучи комиссаром партизанского отряда, я тоже испытал на себе такое «окружение».

Рассказ раненого солдата вызвал у меня чувство какой-то неприятной досады.

«Почему же у нас, – думал я, – мало автоматов? Ведь, кажется, ещё финская война научила нас уважать это оружие!»

И вот я в кабинете у комиссара окружного госпиталя, которого призван был заменить. Передо мной на стуле ещё довольно молодой мужчина лет 38–44 на вид, плотный, среднего роста, с чистым приветливым лицом, в звании политрука, то есть с одной шпалой в петлице. В Армию он пошёл добровольцем, и я почувствовал, что этот товарищ просто «смертельно» полюбил окружной госпиталь и прочно занял исходные позиции для борьбы со мной, присланным. Забегая вперёд, скажу, что так по его и вышло. Он остался «добровольцем» в Свердловске, я уехал с полевым госпиталем на фронт, в строевые части.

Посмотрев мои документы, он ничего не сказал, подумал немного и крикнул в открытую дверь соседней комнаты:

– Николай Александрович!

Из соседней комнаты к нам вышел мужчина лет под пятьдесят, суховатый, стройный, по-видимому, довольно крепкий. Тонкое, чистое, продолговатое лицо, нос с большой горбинкой. «Поповской породы», – почему-то подумал я и не ошибся. Николай Александрович Пономарёв, врач областной больницы, был действительно сыном священника, как я узнал потом.

– Николай Александрович, – обратился комиссар к вошедшему, – вот вам комиссар госпиталя, познакомьтесь.

– Начальник полевого госпиталя Пономарёв, – промолвил тот, подавая мне руку.

– Пичугин, – ответил я, пожав ему руку.

– Вы на какой были работе? – обратился ко мне Пономарёв.

– В должности заведующего отделом пропаганды и агитации, – ответил я.

– Хорошо, очень хорошо, – обрадовался Пономарёв, – следовательно, вы политическую работу знаете, а я ведь воспитатель никудышный.

Комиссар улыбнулся:

– Значит сошлись, пишите направление.

– Вот тебе, брат, и «комиссаром окружного госпиталя в Свердловск», – тихо промолвил я, когда писал под диктовку: «Пичугин Михаил Павлович направляется комиссаром восьмьсот пятьдесят восьмого полевого инфекционного госпиталя...»

– Ну, – обратился я к Пономарёву, – пошли в госпиталь, где он у вас?

Пономарёв рассмеялся:

– Пока госпиталь – это я и вы. Нам с вами придётся заняться его формированием.

Я ничего не ответил, и мы вышли на улицу. Затем вскочили оба в трамвай и прибыли на улицу Щорса, недалеко от барахолки, в пустующее здание начальной школы, где и должен был формироваться госпиталь. Ночевал я один в пустой школе, в углу одной из комнат, на подстилке из сена, которое нашёл во дворе школы. Было тепло, и я не нуждался в одеяле, а прибыл я в Свердловск в одном костюме. На второй день к нам были прикомандированы начальник финчасти Белов из Невьянска и начальник материальной части Епифанов, член партии с 1919 года, начальник свердловской конторы «Главчерметсбыта», тоже добровольцы.

Впоследствии я встретил их приятеля Громова, комиссара в санитарном отделе округа, тоже добровольца. Меня удивляло, почему все эти «добровольцы» не пошли на фронт в строевые части? Только потом я убедился, что такие «добровольцы» именно этим своим «добровольством» занимали места несравненно более безопасные, чем те, кто шёл по мобилизации. Ведь по мобилизации непременно пошлют в отдельную часть на фронт.

Епифанов и оказался дрянь-человеком: пьяница, лгун, трус презренный, он причинил мне много вреда потом, при формировании полевого госпиталя.

Постепенно состав госпиталя увеличивался. Прибыли тринадцать шофёров и человек двадцать пять санитаров, затем три врача-женщины, медсёстры, фармацевты. Стали мы получать и машины, оборудование, обмундирование и всё необходимое.

Старшиной к нам был прислан Усольцев Пётр Павлович, парень хороший, непьющий, вежливый и спокойный, бывший председатель колхоза «Победа» Егоршинского района. Усольцев был членом ВКП(б).

Из санитаров выделялся некто Иван Малов. По-видимому, фамилия Малов ему была дана в насмешку. Он был почти два метра ростом, по профессии шахтёр с Егоршинских копей. Как и большинство егоршинских шахтёров, Малов был горьким пьяницей. Для меня началась постоянная мука со всеми этими шофёрами, санитарями: они пьянствовали, уходили в город, не спрашивая ни меня, ни начальника госпиталя.

Я не был кадровым военным Красной Армии, не считая моего кратковременного пребывания в ней ещё в 1918 году под Псковом. Тогда я и получил звание батальонного комиссара, что равнозначно майору. Но все мои шофёры и санитары оказались бывшими кадровыми красноармейцами. Знали, что такое воинский устав и дисциплина. Однако в сравнении со старой армией, в которой я служил почти четыре года, эта дисциплина казалась для меня какой-то фальшивой, наигранной. Беспрекословного подчинения и выполнения приказаний не было. За положенным ответом «Есть», «Слушаю» и т. д. обязательно шли дополнительные разговоры, пререкания – «отрыжки митингования».

«Нет! – думал я. – С такой дисциплиной мы не победим немцев».

По старой привычке я иногда громко перебивал рассуждающего: «Не разговаривать, повтори приказания» – и нередко давал мата.

Однажды Малов явился ко мне сильно выпившим и привёл с собой какого-то молодого человека лет 25–28. Молодой человек был почти трезвый.

– Вот, товарищ комиссар! – заплетающимся языком начал Малов. – Я привёл к вам самого настоящего шпиона.

– Почему ты думаешь, что это шпион? – молвил я.

– Я, товарищ комиссар, хоть и пьян, но сразу вижу шпиона. Вместе мы с ним сначала пиво пили в «американке», а потом он начал меня спрашивать, где я живу, что я делаю.

– Дальше что было? – перебил я Малова.

– Дальше я повёл его к вам: пусть, мол, комиссар разберётся.

– Где работаешь? – быстро спросил я у «шпиона».

– На заводе «Уралобувь».

– Какой цех?

– Седьмой, товарищ комиссар.

Я позвонил – мне ответили, что такой рабочий у них действительно работает и работает хорошо.

– Можешь пойти, – сказал я рабочему, сердито глянув на сконфуженного Малова.

Следующий день у меня целиком ушёл на то, чтобы пристроить Малова на гауптвахту на четырнадцать дней. Все гауптвахты были битком забиты.

С «губы» Малов вернулся сильно осунувшийся, бледный. «Тёща», как в шутку звали «губу», плохо кормила своих неисчислимых «зятьёв». Малов, как мне передали, дал торжественную клятву «свернуть голову комиссару». Но «клятву» эту Малов так и не выполнил. Судьба впоследствии разлучила нас навсегда.

Безделье – самый страшный враг человека, это я знал и раньше, а теперь особенно почувствовал на своём собственном госпитальном опыте.

Никто никаких указаний нам не давал – чем именно должен заниматься личный состав госпиталя. Вместе с начальником госпиталя мы самостоятельно составили расписание занятий. В эти занятия я включил строевой устав, всю военную муштру, какой подвергался сам в старой армии. Изучение винтовки, автомата, гранатки, ручного и станкового пулемёта. Со стороны начальника госпиталя – занятия по вопросам медицины и всего того, что должен знать и уметь личный состав госпиталя. Дело у нас закипело: вставали в шесть часов утра, ложились спать после проверки в одиннадцать часов. На занятия по изучению пулемётов ходили в дом офицеров километров за пять, проводили тактические занятия. Ползали на брюхе по болотам, по грязи все: и санитары, и санитарки, и медсёстры, и фельдшера, и даже фармацевт, нежная дамочка с ярко накрашенными губами.

Узнали об этой нашей строевой подготовке и комиссары других комплектующихся госпиталей. Они резко обозвали наши порядки «аракчеевским режимом», а меня «николаевским фельдфебелем».

В одно прекрасное утро, прежде чем приступить к занятиям, у дверей моей комнаты собралось всё моё «верное воинство». Постучали в двери. И «парламентёром» вошла фармацевт Коровина.

– Товарищ комиссар! – начала Коровина. – Личный состав госпиталя считает ваши действия неправильными! Ни в одном госпитале воинские занятия не проводятся, люди не ползают по болотам, как у нас, и...

– Довольно! – рявкнул я на Коровину. – Чем вы хотели заняться? Губы красить? Кокетничать? В любовь играть? В других госпиталях пока ещё не комиссары, а мальчики, они ещё не знают, что такое на самом деле война!

Всё же я вышел во двор, усадил всех моих людей на лужайку и начал с ними самую нужную для них беседу. Я рассказывал, что полевой госпиталь будет почти всегда у самой линии фронта. Я прочитал им несколько газетных статей, где рассказывалось о том, как санитары и санитарки госпиталя задерживали огнём наступающего противника, пока через реку переправляли раненых солдат, о том, как девушки-санитарки на себе выносят раненых с поля боя... И многое другое.

– Я требую, чтобы каждый санитар, – продолжал я, – мог править автомашиной, чтобы автомашиной могли править медицинские сёстры, фельдшера и врачи. Вы провожаете раненых, ваша машина попала под обстрел, шофёра ранило. Кто поведёт дальше машину? Оставить её с людьми на дороге под обстрелом, можно ли так?!

Долго и сильно я говорил о том, что все мы должны стать настоящими и умелыми солдатами. После этой беседы никто больше не возражал против строевых занятий, учились водить машину, поломали все заборы на окраинах Свердловска. И впоследствии всё это пригодилось.

Сестра Котова, провожая больных на автомашине, заменила сильно раненного шофёра Щелгачёва и спасла людей, сумела вывести машину из-под обстрела.

Постепенно мы приобретали материальную часть госпиталя, получили двенадцать автомашин, одну «дезкамеру», полевые носилки, бельё и всё прочее необходимое. Получили и обмундирование. Командный состав спешил перешить, щегольски обуздить широкие солдатские шинели, но я не стал заниматься этим делом. Подобрал шинель настоящую солдатскую, широкую, длинную и плотную. Петлицы всё же пришили в мастерской и на них две шпалы. Комиссарских отличий я не носил, и меня принимали за командира какой-либо части в звании майора.

В конце сентября всех моих санитаров забрали в строевые части, в том числе и того самого «буяна» Малова, который простился со мной задушевно и трогательно. Вместо санитаров мужчин нам дали санитарями человек пятьдесят девушек из города Свердловска. Большинство из них имели среднее образование, многие пришли с первого курса института. Все прибыли с путёвками комсомола добровольцами, пожертвовав всем ради служения Родине. Как отличались эти молодые, честные добровольцы от тех – «добровольных тылови́ков», упомянутых мной ранее в повествовании! Просто приходилось удивляться, как стойко эти юные девушки переносили все невзгоды военной солдатской жизни.

Эти девушки прямо самозабвенно изучили всё, что требуется санитару, медсестре, и не было ни одного случая, чтобы кто-либо нарушил порядок, заведённый нами в госпитале.

Впоследствии им приходилось иногда голодать по несколько дней, мёрзнуть и мокнуть под дождём. Не спать подряд неделями, дежуря у постели больных и раненых солдат, переносить ужасы налёта вражеской авиации. Обмывать и перевязывать ужасные гнойные раны. Очищать раненых, привезённых с позиции, от кишевших на теле вшей. И никогда от этих девчат я не слышал ни одной жалобы на тягости военной жизни! Они всегда были исполнительны, тверды и жизнерадостны. А ведь в основном они были из хорошо обеспеченных семей, привыкшие к семейному уюту, родительскому вниманию и ласке.

Да, вот именно они и были настоящие, скромные патриоты и герои, отдавшие Родине всё: молодость, красоту, счастье семейной жизни и свою молодую жизнь.

И почти все они погибли на фронте в первые годы войны.

Слава родителям, слава комсомолу, воспитавшим таких мужественных девушек, и я склоняю свою седую голову перед их светлой памятью.

Одни сутки дома

Жизнь в Свердловске ничем особенным не отличалась, и писать об этом нет надобности. Почему-то все мы с нетерпением ждали отправки на фронт.

В половине ноября я получил разрешение съездить домой на одни сутки. Порядки были введены в армии очень строгие. Самовольная отлучка свыше двенадцати часов считалась дезертирством, а дезертиров расстреливали.

И вот я дома.

Моя семья с квартиры на втором этаже переместилась на квартиру в нижний этаж, в маленькую комнату, более тёплую – меньше надо будет дров. Жена уже готовилась к борьбе с нуждой, которая стучалась в двери домашних большинства призванных в армию.

В простой солдатской широкой шинели с петлицами майора я шагал по улицам города, а Вовка, маленький, живой, бежал со мной, держась за руку, и если какой-либо солдат, встречаясь, неаккуратно отдавал честь, Вовка мерил его презрительным взглядом и шептал: «Чёрт неуклюжий, честь не научился отдавать».

Да, Вовка не шутя был воинственно настроен.

Затем я зашёл в четвёртую школу посмотреть, как учится старший Коля. Был он очень худенький, бледный и довольно робкий. Пошёл он в школу, как и положено было, в семь лет. Каждый день я давал ему сорок копеек на завтрак в школе, а учащиеся в той же школе ребята из детского дома каждый раз отбирали у него эти деньги в воротах школы да иногда ещё и пинка давали. Ему строго было ими наказано молчать и не говорить об этом дома, Коля молчал.

Однажды у меня не было четырёх гривенников, и я дал ему три рубля. Вечером я вспомнил, что дал Коле три рубля, и спросил сдачу. Парень мой сильно смутился, потупил голову и молчал. Я почувствовал что-то неладное и попросил его сказать правду. Коля никогда, ни разу не говорил мне неправду и все чистосердечно рассказал и теперь.

Мы решили с женой передержать Колю дома ещё год: пусть подрастёт и наберётся сил, иначе он может попасть под влияние хулиганов. И вот теперь, придя в четвёртую школу, я убедился, что мы поступили правильно. Коля вырос и окреп, никто уже не осмеливался спросить с него рубль.

«О, – говорила мне учительница, – он у нас теперь самый большой и сильный в классе».

Отправка на фронт

На фронт из Свердловска мы всем госпиталем выехали 19 ноября 1941 года. Стояла тёплая туманная погода, порошило, земля уже была покрыта значительным слоем снега. Уезжали вечером, в двадцать ноль-ноль. Я сходил на почту, вызвал по телефону Ирбит-райком и попросил дежурного послать за женой на квартиру.

Произошёл прощальный наш с ней короткий разговор. Помню, я давал какие-то мало-важные советы и сообщил, что поедем на запад. Не знаю, у всех ли людей такое настроение перед серьёзной разлукой, но у меня всегда в такой час как-то всё вылетает из головы. Она делается совершенно как бы пустой, мысли исчезают напрочь, не знаешь о чём говорить, и это очень мучительно, так как сердце в то же время ноет, болит, тоскует, и хочется, в конце концов, «сократить» срок расставания.

Помню, как я провожал брата Ивана (Примечание 1) в Красную Армию после его побывки дома, кажется в 1925 году. Дело было зимой, в ноябре. Погоды стояли довольно тёплые. Провожал я его на лошади, на санях. Отъезжали мы от дома вёрст сто глухой уральской тайгой, доехали до Туринского болота. Ширина этого болота была 10–12 километров. Санная дорога только до болота, дальше пошла узкая тропа. И вот мы стоим у края нашей дороги, дальше ехать нельзя, а до Туринска, то есть до железной дороги, сто тридцать четыре километра.

«Ну, Ваня! Простимся, – говорю я. – Придётся тебе шагать пешком до Туринска». Ваня молча набросил на плечи котомку, вынул кисет, мы свернули по сигарке и закурили. Курили и молчали оба, выкурили по одной, завернули ещё по одной, и Ваня промолвил сжато и глухо словами из романа или рассказа Джека Лондона: «Это была их последняя сигара! Прощай!». Встретил я его после этого только в 1934 году...

Так получилось у меня и при разговоре с женой по телефону. Мы, по сути дела, поздоровались и простились, то есть сказали друг другу: «Здравствуй и прощай». Я ещё что-то говорил, кажется, советовал переехать жить в деревню... И только...

В Торжке. Первые раненные и мои впечатления

...Что-то около месяца мы формировались на территории Вологодской области, и наш полевой инфекционный госпиталь был придан вновь сформированной 39 армии (Примечание 2).

Из жизни Вологодской области в период формирования армии в памяти запечатлелся один эпизод, о котором я писал в письмах своим ребятам.

Мы в составе начальника госпиталя, меня, врача Пономарёва, ещё пятерых врачей другого госпиталя ехали на грузовике из города Никольска в село, где был расположен наш госпиталь. По сторонам дороги был уже глубокий снег, маленькие поля и перелески. Вдруг метрах ста от дороги показалась рыжая лисица с большим пушистым хвостом и долго бежала параллельно дороге. Один из врачей выхватил пистолет и выстрелил в лисицу, но та, не обратив даже внимания, спокойно ушла в лесок. Звери к тому времени уже привыкли к звукам выстрелов.

О разгроме немцев под Москвой мы узнали уже в дороге на фронт. Радости нашей не было конца, да и не только нашей. Радость сияла на лице каждого человека, кого я видел в те дни. Появилась твёрдая вера в нашу победу.

Россия «раскачивается», заявил мне один железнодорожник с большой чёрной бородой, и я с ним был согласен. Да, думалось мне, мы действительно только ещё раскачиваемся. 39 армия, в которую влили и наш госпиталь, состояла из сибиряков и уральцев, людей стойких и мужественных.

Широки, необъятны, величественны и суровы просторы Урала, Сибири. Дремучие, непроходимые леса, обширные степи, высокие горы, многоводные реки и широкие озёра, над которыми вечно стелются волнистые белые туманы. В суровой борьбе за существование веками здесь человек отвоёвывал своё право жить и творить. Преобразуя природу, человек преобразует и себя.

В жестокой схватке с морозами и выюгами, суровой тайгой и хищным зверем закалялась воля уральца, сибиряка. Дикая необъятная ширь, безбрежная свобода, просторы вдохнули здесь в человека неукротимый дух свободы и независимости. Уральцу и сибиряку присуща чистая и святая, как материнская слеза, любовь к Родине, к России, ко всему русскому. Только в таких условиях смог выковаться тип уральца и сибиряка – мужественного, стойкого храбрца, крепкого умом и русской природной смекалкой. Крепкого физически, верного товарища в бою и невзгодах солдатской боевой жизни.

Помню, ещё в Первую мировую войну, когда в опасных местах фронта появились сибирские части, противник не имел успеха, несмотря на огромное превосходство в технических средствах войны. И только по мере того как таяли в ежедневной боевой страде ряды сибиряков, нарастала дерзость противника.

Вот из таких замечательных людей состояли полки и дивизии 39 армии. Но вооружение их было, по правде говоря, плохое. Мало танков, совершенное отсутствие авиации. Мало даже автоматов, миномётов и артиллерии. Это сильно бросалось в глаза, когда мимо нашего госпиталя проходили в бой наши войска.

...Ранним морозным утром мы высаживались на станции Торжок. Густой туман от сильного мороза окутывает станцию, и город это спасает от очередного налёта вражеской авиации.

Мы едем городом. Печальное зрелище представляется нашим глазам. Удары вражеской авиации сильно разрушили городок. Три дня шестьдесят немецких самолётов безнаказанно громили город с воздуха. А нашей авиации совсем не было видно. Немецкие лётчики издевались. Вслед за фугасными бомбами они бросали пустые бочки, обломки рельс, пустые ведра, пивные бутылки и т. д.

Дома были разрушены или сгорели, обожжённые тополя, воздев кверху чёрные сучья, как бы говорили: «Смотрите, что сделали с нами враги».

Торжок, городок древний (в нём ещё самозванец Димитрий венчался с гордой полячкой Мариной Мнишек) и, видать, до войны был хорош: маленький, плотно застроенный, прямые широкие улицы. Белые чистенькие домики утопали раньше в зелени садов, чистые прямые улицы. На две части город разделяет река. Я вспомнил кинофильм «Закройщик из Торжка».

Нигде, я думаю, не пели с таким чувством знаменитую песню «Любимый город», как в самом Торжке.

А теперь воздушные налёты немцев, как гроза, накрыли Торжок, дома лежали в руинах, сады догорали. Молча проходили части армии через сожжённый и разрушенный город, пустынный, как кладбище, неся к фронту закипевшую злобу и ненависть к врагу, шли расплатиться за всё.

Переехав через реку по уцелевшему каким-то чудом мосту, мы остановились за городом у пустой городской больницы. Больница для такого небольшого города оказалась более чем прилична, построена в густом саженном лесу, благодаря этому уцелела полностью, только стёкла в рамах были выбиты сотрясениями и воздушными волнами.

В саду возле больницы мы разгрузили всё имущество нашего госпиталя. Там ещё вместе с нами расположился и другой госпиталь. Личный состав обоих госпиталей был устроен недалеко от больницы – в маленьких деревянных домиках на уцелевшей от бомбёжек улице.

И тут же мы получили приказ от начальника санитарного отдела армии военного врача третьего ранга Рязаного: «Подготовиться к приёму раненых».

Фронт находился от Торжка в двадцати пяти километрах – началось наступление наших войск. Ночью пылающие сёла и города показывали, что противник отступает. Особенно ярко горело местечко Селижарово, где были большие цементные заводы. Иногда на линии фронта раздавались глухие и сильные взрывы, это немцы оставляли память о себе.

Городскую больницу мы быстро привели в порядок: очистили от мусора комнаты, починили рамы, наделали топчанов и приготовились к приёму раненых. Наш восьмьсот пятьдесят восьмой госпиталь был инфекционный, то есть по борьбе с различными заразными болезнями, и у нас не было ни одного хирурга. Наши инфекционисты, врачи и сёстры, очень плохо умели делать перевязки, и тем не менее нас заставили принимать раненых. Хорошо, что вместе с нами расположился хирургический госпиталь, и мы распределили обязанности. Наш госпиталь будет делать предварительную обработку раненых, обмывать, дезинфицировать, готовить завтрак, обед и так далее, а хирургический будет производить операции и эвакуировать раненых в тыловые госпитали.

...Морозы становились всё сильнее и сильнее, ночи стояли светлые, лунные. И почти каждую ночь прилетал немецкий самолёт и бомбил единственный оставшийся в городе мост через реку. Удивительно, но ни разу ни одна бомба не угодила в мост. Местность вокруг него была буквально изрыта воронками. Самолёт иногда появлялся и днём, спокойно делал своё дело, и никто ему не мешал, так как зенитной артиллерии не было, авиации тоже.

Приближался новый 1942 год, близкий фронт гудел, как надвигающаяся гроза.

Морозы становились всё злее, как говорят – «с дымом». И вот в одну из таких морозных ночей к нам прибыла первая партия раненых, что-то около двенадцати автомашин. Каждая машина была временно приспособлена для перевозки раненых, то есть на кузовах машин были установлены брезентовые пологи.

Легкораненые ехали сидя, человек до двадцати на одной машине, а тяжелораненые лежали на походных носилках, поставленных в один ряд на пол кузова машины. В таком случае на каждой машине помещали не более четырёх носилок. Раненых к нам везли прямо из медсанбатов фронта, где им оказывалась первая помощь.

После потери крови раненые очень плохо переносили мороз. Многие лязгали зубами от холода и просили скорее взять их из машины. Тяжелораненые глухо стонали, слышались иногда вскрики, но в общем все держали себя героически и терпеливо дожидались своей очереди, когда их снимут с борта.

Санитары и санитарки нашего госпиталя трудились самозабвенно. Быстро все машины были разгружены, а раненые перенесены в тёплые помещения, где их обмывали, поили горячим чаем, поправляли сбившиеся за дорогу перевязки. Когда примерно через час я зашёл в

помещение, где располагались раненые, я увидел такую картину: все были умыты и прибраны, санитарки поили чаем тех, кто не мог встать. Многие аппетитно курили, на лицах раненых сияло довольство теплом и уютом, у каждого во взгляде была надежда на жизнь. А только два-три часа тому назад эти люди были в бою, часами лежали где-либо в снегу, истекая кровью, теряя надежду сохранить жизнь. Но теперь они далеко от фронта, сытые и в тепле.

Раненый командир роты, молодой пехотный лейтенант, рассказывает лежащему рядом командиру батареи, артиллеристу с раздробленной ногой, как его батарея помогла им, пехоте, в бою.

– Знаешь, Саша, – говорил комроты, – не знаю, что было бы, если бы ты не помог нам артиллерийским огнём. Раз восемь наш батальон поднимался в атаку на эту деревню, и каждый раз мы отступали с огромными потерями. Немцы превратили ряд домов в сильно укрепленные дзоты и беспощадно косили наши цепи пулемётным и миномётным огнём. Уже стемнело, а мы всё ещё не могли взять деревню. Вдруг мне сообщили, что из штаба армии прибыли сам начальник штаба и комиссар полка, которые поведут полк в атаку на деревню. Уже было темно, когда раздалась команда и весь полк во главе с комиссаром полка снова ринулись в атаку.

Огонь немцев был ужасен, но меткой стрельбы с темнотой стало меньше. Моя рота уже ворвалась в деревню, когда меня ранило. Кровь так и хлещет, а перевязать нет возможности. Оказавшийся против меня немецкий дзот пулемётным огнём не даёт подняться ни мне, ни моим бойцам... И вдруг я вижу, как ты, Саша, с бойцами катишь свою пушку на передний край. Ещё минута, и прямой наводкой немецкому дзоту глотка была заткнута!

Командир батареи слабо улыбнулся:

– Коля! Я рад, что помог тебе в эту трудную минуту. Прямой наводкой бить хорошо, но из всего орудийного расчёта в живых остался, кажется, только я один. А комиссар полка, который водил полк в атаку, вон – лежит на носилках с оторванной ногой и простреленной грудью. Начальник штаба убит, мы несём ужасные потери, беря штурмом каждую деревушку...

...Впоследствии я проезжал по следам нашего наступления, и, действительно, каждое подобное наступление обходилось очень дорого. Немцы в таких деревнях крайние дома превращали в сильно укрепленные дзоты и оставляли в них только пулемётные расчёты, и эти пулемётные расчёты, всего 15–20 человек состава, иногда истребляли целые наши батальоны! Так мы расплачивались за глупую линейную тактику.

В марте 1942 года мне пришлось быть на совещании госпиталей 39 армии. На этом совещании я узнал, что мы пропустили раненых через госпитали за два-три месяца боёв больше всего первоначального численного состава нашей 39 армии при прибытии её на фронт! Но при этом освободили от противника лишь незначительную территорию!

Это была бесцельная и бездумная трата живой силы нашей армии!

Итак, наш госпиталь занимался только подготовкой раненых для хирургического госпиталя, который расположился тут же в саду. В одно из моих дежурств стояла сильно морозная погода.

Температура на улице доходила до минус сорока градусов, госпиталь был уже заполнен ранеными, но прибывали всё новые и новые партии. И скоро весь двор больницы был заставлен машинами с ранеными. Мороз давит, раненые стонут, многие почти замерзают, молят поместить их хотя бы в коридоре или ещё где-либо. Они вырвались из когтей смерти там, на поле боя, не для того, чтобы умереть на дворе госпиталя.

Вбегаю в здание, смотрю: палаты заполнены так, что свободно можно переставить койки и разместить ещё столько же раненых. Коридоры тоже совершенно свободные! Кричу санитарам, сёстрам и прочим, чтобы немедленно сносили раненых со двора в госпиталь, а мне отвечают, что дежурный врач больше не разрешает принимать раненых.

Сказать, что меня это сильно удивило, – не сказать ничего. Я кинулся в комнату дежурного врача. За столом сидел седой человек и спокойно писал что-то в толстый журнал.

– Знаете ли вы, – закричал я, – что во дворе в машинах на сорокаградусном морозе замерзают раненые!

– Что же я могу поделать, – ответил врач, – я и так принял в госпиталь больше, чем положено по плану, и больше принять не могу ни одного человека.

– Дурак! – не вытерпев, закричал я. – Да разве на фронте в боях ранят и убивают ежедневно по плану? Да знаете ли вы, что пока мы с вами разговариваем, здесь, у самих стен госпиталя, люди умирают из-за вашей тупости и преступного равнодушия!

Врач вскочил на ноги с перекошенным от злобы лицом и закричал:

– Я не позволю оскорблять меня! Я – дежурный врач и сам отвечаю за всё! И не ваше дело вмешиваться в мои распоряжения! Я на вас буду жаловаться начальнику санитарного отдела армии.

Потеряв всякое самообладание, я схватил этого идиота за руки, вытащил из-за стола, ударил рукояткой пистолета по столу и крикнул:

– Если через десять минут все раненые не будут внесены в госпиталь, я застрелю вас как собаку!

С силою швырнул его в коридор. Сам сел за его стол, положив перед собой часы и пистолет.

Прошло десять минут, врач не показывался.

Я вышел в коридор. Там уже стояли носилки с ранеными, в палатах койки были сдвинуты и приняты новые раненые. Я вышел во двор, ни одной машины с ранеными во дворе не было. В течение ночи прибывали ещё две партии, и все были приняты. Вместо положенных трёхсот пятидесяти мы приняли тысячу четыреста пятьдесят человек, нарушив всякие правила, – таковы законы войны.

А на второй день вызвали меня к приехавшему начальнику санитарного отдела армии военврачу третьего ранга Рязанову. Встретил меня высокий лет тридцати пяти мужчина богатырского сложения – физически развит, красивое простое русское лицо. Перед ним лежал рапорт побеждённого мной ночью врача.

– Читайте! – жёстко сказал Рязанов.

Я прочитал.

– Ну как, товарищ батальонный комиссар?

– В этом рапорте всё истинная правда, товарищ начальник санитарного отдела армии.

И надо сказать, что врач действительно ни одного слова не выдумал и не убавил.

– Я восхищён объективностью мошенника, – сказал я.

Рязанов долго и внимательно смотрел мне в лицо, потом, чуть улыбнувшись, сказал:

– Я понимаю обстоятельства, заставившие вас поступить так, но... категорически запрещено так делать.

Впоследствии мы стали хорошими друзьями и с Рязановым, и с врачом, который прямо заявил мне, что он был совершенно дурак до стычки со мной и что эта стычка заставила его смотреть на обстановку иными глазами.

Вот так-то.

Только личный опыт может быть критерием истины.

В деревне Дарьино. По пути наступления наших войск

20 декабря 1941 года 39 армия перешла в наступление на Ржевском направлении. Снега были в эту зиму ужасно глубокие.

Наступление вели без танков и авиации.

Противник отступал медленно, все же наши войска продвигались в день километров по 14–15. Моральное состояние нашей армии было прекрасным.

Героизм наших войск и ненависть к врагу крепили в ходе наступления. Бойцы видели теперь своими глазами врага в лицо, а не по газетам. Сожжённые сёла, тысячи расстрелянных, повешенных оставлял враг на пути отступления. Проходя по местам вчерашних боёв, я видел мстительную ярость наших бойцов: как правило, каждый убитый немец лежал с разбитой вдребезги головой. И если это не успевал сделать солдат, это делали женщины и подростки.

А немцы, отступая, жгли деревни. Ночью весь фронт казался кроваво-огненной лентой, из которой временами раздавались сильные взрывы. Столбы огня высоко поднимались к небу. Это немцы взрывали наши промышленные предприятия: цементные заводы в Селижарове и другие.

Впервые от местных жителей и бойцов мне пришлось услышать о немецких зверствах. Рассказывали, что одна женщина не могла снять сапоги с убитого немецкого офицера, тогда взяла топор и «оттапала» мёрзлые ноги. Принесла их в избу и в присутствии красноармейцев, которые зашли к ней погреться, забила ноги немца с сапогами в печку, оттаяла их и затем сняла с них сапоги. Эта её «бесчувственность» объяснялась ненавистью. Тем, что немцы застрелили её шестилетнего сына только за то, что его звали Владимир.

В другом доме немецкий офицер по-русски спросил пятилетнюю девочку: «Где твой папа?» – «Летает...» (отец девочки был советским лётчиком). Фашистский выродок вынул пистолет и пристрелил девочку.

Много передавали потрясённые жители сведений и о других зверствах фашистов. На горьком своём опыте наш миролюбивый народ учился по-настоящему ненавидеть врагов, и враг почувствовал эту ненависть и её грозную силу.

Но были среди народа и такие, которые сживались с немцами и изменяли Родине.

И ещё были такие, которые хотели оставаться «нейтральными». Пусть их всех, пусть воюют, наше, мол, дело – сторона. И «хата моя с краю, ничего не знаю».

Вот у такого «нейтрала» мне пришлось однажды стоять на квартире в деревне Дарьино Калининской области, где мы приступили к оборудованию полевого госпиталя.

Этому мужичку было лет шестьдесят. Семья их состояла из четырёх человек: хозяин, жена, сноха, внучка. Сын его отступил вместе с Красной Армией, он был кандидат в члены ВКП(б). До войны сын служил в районе, и теперь его семья очень боялась немцев. Сам мужичок этот в Первую мировую войну служил денщиком у офицера. Их, то есть денщиков, пренебрежительно называли холуями. Часто – за дело.

У меня была водка, и я иногда угощал старика, а он мне платил за это большой взаимностью: стелил мне постель, ходил за обедом, по несколько раз за ночь подходил ко мне и поправлял сбившееся одеяло. Такого любовного отношения к себе я в жизни не встречал ранее.

Деревня Дарьино только что недавно была освобождена: немцы из этой деревни были выбиты неожиданным ударом и не успели при отступлении сжечь её.

Подвыпив однажды, мой старик «денщик» вступил со мной в откровенный разговор:

– Знаешь, комиссар, – начал он, – я тебе как Богу скажу всю правду, что я думал, когда началась война. Ты хоть меня прямо в НКВД веди, а я всё скажу, что думал.

– Что же ты думал? – спросил я.

– Думал я, когда немцы заняли деревню, что всё пропало. И советской власти конец, и России конец.

– Ну а теперь как думаешь?

– Теперь думаю – немцам конец. Озлился наш народ до ужаса! Его теперь не удержать, до Берлина дойдут, и сами немцы говорят об этом. Когда наши стали наступать, у нас в доме жили четыре немца – поварами работали на солдатской кухне. Так вот один из них, рыжий такой верзила, вбежал к нам в избу и кричит: «Лус озлился! Немец капут!»

– Я тебе прямо скажу, – болтал «мой холуй», – советскую власть я когда любил, а когда и нет. И немцев – когда боялся, а когда и нет. Думал иногда: «А не всё ли равно, за кем

жить, может, ещё и землю дадут в единоличное пользование при немцах. Хозяином буду, как и раньше». А по деревне болтали, что немцы привезут много товаров, магазины будут торговать ситцем, сукном, колбасами, ветчиной и прочим.

И вот – приехали немцы.

Сидим мы, значит, за обедом: я, жена, сноха и внучка. Хлеб на столе, два каравая. Слышим, топают немцы на крыльце. Вошли в избу четверо, у двоих большие мешки в руках, ну, думаю, не иначе как колбасу носят раздавать, сахар и ещё что-нибудь.

Встал я из-за стола, поклонился им, говорю: «Милости просим, господа, покушать нашего хлеба с нами». Один, высокий, чёрный такой немец – морда длинная, лошадиная, а ручища... я думаю, он никогда не мыл их, до того грязные. Подошёл этот верзила ко мне, хлопнул меня ручищей по плечу, оскалил лошадиные жёлтые зубы и говорит: «Гуд лус, гуд лус!» – значит «Хорошо, хорошо!» А потом провёл ручищей по столу, и мои два каравая хлеба как корова языком слизнула со стола – стукнулись оба в мешок.

Я и рот разинул: вот так колбаса, ветчина, сахар – получил! Другой немец хлопает по плечу мою старуху и бормочет: «Матка, яйки! Герман зольдат кушать надо!» Встала моя старуха, подошла к шкафу у печки, достала корзину с яйцами – три десятка в ней было – и деликатно так, с улыбочкой, подаёт им четыре штуки. Мол, вот вам по штуке на брата, примите на здоровье. Этот, который с лошадиной мордой, опять заорал: «Гуд! Гуд лус!» Потом взял всю корзину и передал другому немцу: на, мол, неси. Потом и пошли шарить, и пошли... Счастье моё, что хоть я не боялся немцев, но всё же на всякий случай хорошее-то всё надёжно припрятал. Так они и барахло забрали!

Старик так комично представил в лицах всю сцену, все своё разочарование в отношении немецкой «доброты», что я неудержимо захохотал. Немного погодя начал смеяться и мой «холуй».

– Так вот, товарищ комиссар, я узнал, что и как нам надо делать теперь. Вылечили немцы мои мозги.

* * *

В Дарьине мы пробыли недолго – не успели даже принять ни одной партии раненых, как нам приказали переехать на новое место в Нелидово Великолукской области. На автомашинах зимой нам предстояло проехать более трёхсот километров. Переезд этот мы и сделали, быстро, благополучно, не считая двух неприятностей, имевших место в дороге.

В довольно большом селе Кувшиново мы остановились у здания комендатуры всей колонной из тринадцати машин, так как в этом месте стояло много войск. Впереди моей машины ехали наши сёстры и санитарки, молодые и весёлые девчата. Из здания комендатуры вышел какой-то офицер и подошёл сзади к машине, где ехали медсёстры и санитарки. Держась за задний борт машины, он весело «бил зубы» с девчатами. Наша машина находилась всего в девяти метрах от передней, и вдруг она медленно сошла с тормозов и подкатила вплотную к заднему борту стоявшей впереди машины, у которого и зубоскалил офицер. Я не придавал этому никакого значения. Правда, наша машина чуть притиснула офицера к заднему борту, но он и вида не подал, что ему больно, не крикнул, ничего не сказал, а просто пошёл к зданию комендатуры. Вскоре после этого наша колонна двинулась дальше. Отъехали мы не более чем на десять километров, как нас догнал на мотоцикле связист особого отдела комендатуры Кувшиново и заявил, что мы искалечили офицера особого отдела: у него оказался сломанный позвоночник. Я не мог поверить этому и счёл простым недоразумением. Чекист требовал повернуть нашу колонну обратно в Кувшиново для разбора дела. Я наотрез отказался, чекист пригрозил. Я послал его по всем матюкам, какие мог вспомнить. Мой чекист смутился и, записав моё «имя и звание», повернул восвояси.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.